



III.

Обзоръ лирическихъ произведеній М. Ю. Лермонтова.

Взглядъ Лермонтова на поэта и его служеніе обществу (стих. «Поэтъ и Пророкъ»).— Взглядъ на современное общество (сатиры «1-е января» и «Дума»).— Отношеніе людей къ природѣ и всему чистому и невинному въ человѣческомъ мірѣ (стих. «Три пальмы», «Памяти А. Одоевскаго» и «Молитва—Я, Матерь Божія»).— Лермонтовское «безочарованіе» (стих. «Благодарность»).— Объясненіе такого состоянія (стих. «Ангелъ»).— Всегдашняя внутренняя борьба и временное успокоеніе: а) въ религії (стих. «Молитва» и «Вѣтка Палестины») и б) въ созерданіи красоты природы («Когда волнуется желтѣющая нива» и «Родина»).— Мрачное состояніе души поэта подъ вліяніемъ тѣхъ-же картинъ (стих. «Тучки» и «Выхожу одинъ я на дорогу»).— Отчаяніе поэта (элегія «И скучно, и грустно»).— Жизнь—борьба для борьбы («Нарусъ»).— Сознаніе крайности такого положенія («Сосна») и невозможности примириться съ обществомъ («Дубовый листокъ»).— Сужденіе о характерѣ лирическихъ произведеній Лермонтова.— «Казачья колыбельная пѣснь», какъ образчикъ положительного идеала и поэтическихъ мечтаній Лермонтова.



а поэта и его служеніе Лермонтовъ смотрѣлъ чрезвычайно высоко. По его взгляду „сладкіе звуки и молитвы“ поэта должны имѣть самую тѣсную связь съ жизнью; будучи, „сынами небесъ“, поэты являются на землю именно „для житейскаго волненія и для битвъ“ съ несовершенствами жизни, какъ представители высшаго, идеальнаго элемента въ полной материальныхъ нуждъ и заботъ жизни человѣка. Само собою разумѣется, что высокое призваніе поэта быть неусыпнымъ руководителемъ мнѣній, чувствъ и стремленій общества во всѣхъ явленіяхъ

его жизни, — то указывая на ту цѣль, къ которой оно должно стремиться на пути своего умственного, нравственного и гражданского развитія, то обличая за уклоненіе отъ этой цѣли, — требуетъ отъ самого поэта готовности жертвовать своими личными интересами въ пользу блага общества, служа осуществленію его съ горячностью, постоянствомъ и самопожертвованіемъ, характеризующими дѣятельность пророковъ. Въ стихотвореніи „Поэтъ“ Лермонтовъ приводитъ весьма оригинальную параллель между судбою кинжала, такъ хорошо исполнявшаго свое назначеніе въ бояхъ съ врагами и оскорбителями владѣльца и потомъ украшенного золотыми ножнами съ богатою рѣзьбою, попавшаго на стѣнку любителя рѣдкостей и отъ бездѣйствія покрывшагося ржавчиной, и судьбой поэта, на золото промѣнявшаго высокое положеніе властителя думъ и стремлений вѣка и съ потерей внутренней силы и значенія заговорившаго съ обществомъ „скучнымъ, простымъ и гордымъ языкомъ“, начавшаго потѣшать его „блестками и обманами“. Въ концѣ стихотворенія Лермонтовъ обращается къ этому „осмѣянному пророку“ съ воззваніемъ встать на прежнюю высоту своего назначенія.

Но насколько такая высокая и широкая задача служенія поэта обществу могла быть выполнена въ современной жизни даже поэтомъ съ энергией и доблестями древняго пророка, лучше всего видно изъ другого стихотворенія Лермонтова „Пророкъ“, гдѣ общество, когда-то обращавшееся къ поэту съ требованіемъ „давать ему строгие уроки“, стало бѣшенно бросать въ пророка камнями и безжалостно изгнало его изъ своей среды, когда онъ началъ, вмѣстѣ съ „проводглашеніемъ чистыхъ учений любви и правды, читать въ очахъ людей“ и, значитъ, обнаруживать, обличать „страницы злобы и порока“. Опечаленный, оскорбленный пророкъ удаляется въ пустынью, чтобы, такъ сказать, дать людямъ время сознать свой грубый поступокъ, раскаяться въ немъ. Здѣсь поэтъ рисуетъ трогательную картину жизни пророка въ пустынѣ. Чуждый заботъ

о материальныхъ благахъ пророкъ явился здѣсь нищимъ, скитальцемъ, питавшимся тѣмъ, чѣмъ питались неразумные обитатели пустыни; но за то чистая, невинная природа успокоила его, наполнила сердце его радостью. Не уклонно сохранившая завѣщаніе своего Творца и вѣрная своему назначенію „служить человѣку“ не только земная тварь явилась покорною пророку, но даже небесныя звѣзды слушали его, выражая свою радость игрою лучей. Отъ этой свѣтлой картины жизни неиспорченной растлѣвающимъ вліяніемъ человѣка природы поэтъ снова переходитъ къ изображенію мрачнаго состоянія общества. Пока пророкъ жилъ въ пустынѣ, изгнавшіе его люди еще болѣе убѣдились въ законности своего поступка, успѣли подыскать наглядныя, неопровергимыя доказательства своей правоты, и вотъ, лишь только пророкъ снова появился на улицахъ шумнаго города, самодовольные старцы надменно указывали на него своимъ дѣтямъ, какъ на грустный образецъ, до чего можетъ довести человѣка гордость, слѣпая мечтательность и неумѣніе „ужиться“ съ людьми; въ его „угрюмости, худобѣ и блѣдности, въ его наотъ и бѣдности“ и особенно въ общей ненависти и презрѣніи къ нему они видѣли наглядное и яркое доказательство не благословенія, а отверженія Божія.

Дѣйствительно, въ такомъ не испорченномъ только, но совершенно развращенномъ въ основныхъ понятіяхъ и воззрѣніяхъ обществѣ не могло быть мѣста ни пророку, ни поэту съ ихъ чистыми и высокими идеалами и стремленіями; а именно такимъ извратившимъ, искалѣченнымъ представлялось Лермонтову современное ему общество, что ясно видно изъ двухъ его сатиръ: „Первое января“ и „Дума“. Въ первой изъ нихъ поэтъ выражаетъ „горечь и злость“ при видѣ пустоты и бездушія общества, собирающагося только для веселья, убивающаго время безъ всякой живой мысли, серьезной и опредѣленной цѣли. Даже собравшись для веселья, эта пестрая толпа остается бездушна, какъ маской, стянута мелочными прили-

чиями, условными движениями и манерами, повторяет напередъ приготовленныя и затверженныя рѣчи. Искренности, задушевности, прямоты отношений здѣсь нѣтъ и въ поминѣ. Неудивительно поэтому, что такая толпа представляется Лермонтову не живыми людьми, а рядомъ масокъ, изъ-подъ которыхъ не проглядываетъ ни одной естественной, свободной, чисто-человѣческой черты. Фальшь, пустота и ничтожность всей этой извратившей и убившей въ себѣ естественное человѣческое чувство толпы является для него еще ярче и реальнѣе, когда рядомъ и въ параллель съ нею онъ рисуетъ себѣ свѣтлую картину сельской жизни, посреди естественной, простой обстановки, съ чистымъ идеаломъ юности и красоты, прельщающимъ и возвышающимъ душу, вызывающимъ сердце къ жизни и любви. При сопоставленіи этихъ картинъ въ душѣ поэта еще сильнѣе возбуждается горечь и злость при мысли, что эта прекрасная, полная естественности и чистой жизни картина есть только мечта, воспоминаніе, что злая дѣйствительность осудила его жить „подъ бурей тягостныхъ сомнѣній и страстей“ именно среди этихъ бездушныхъ масокъ вертящихся въ заученной плясѣ, при дикомъ шопотѣ рѣчей и шумѣ музыки. Полный негодованія и отвращенія къ этому лишенному искренности и жизни обществу поэтъ проникается желаніемъ

«Смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью».

Еще болѣе тяжелое и горькое чувство наполняетъ душу поэта, когда онъ въ сатирѣ „Дума“ ближе и глубже всматривается въ смыслъ и значение окружающей его жизни и, такъ сказать, задаетъ себѣ вопросъ: что даетъ эта жизнь для ума и сердца?—Молодое поколѣніе, цвѣть и надежда общества, представляется ему нравственно безсильнымъ, въ молодомъ тѣлѣ, „когда огонь кипитъ въ крови“, преждевременно изсох-

шимъ отъ бездѣйствія, потерявшимъ энергию, износившимся, заѣденнымъ апатіей и скучою отъ недостатка разумной жизни и здоровыхъ интересовъ. Оно уже убило въ себѣ эти высшіе интересы, идеальная стремленія; не наслаждаясь, дошло до пресыщенія во всемъ, чѣмъ свѣтла и красна жизнь человѣка: познанья явились для него только „бременемъ“, такъ какъ бесплодная наука изсушила его умъ рядомъ сомнѣній; лучшая надежды, благородныя стремленія и самыя страсти „осмѣяны невѣріемъ“ и глубоко затаены въ душѣ, какъ „безполезный кладъ, зарытый скучостью“, почему умъ и чувства его не шевельнутся сладостнымъ восторгомъ даже отъ созданія искусства или мечты поэзіи; воля его оказывается постыдно равнодушно къ добру и злу или позорно малодушною предъ всякою опасностью; наслажденія, удовольствія перестали быть источникомъ возбужденія его желаній, такъ какъ, потому же самому неумѣнью обращаться съ благами жизни, „бояся пресыщенья“, молодое поколѣніе, „едва коснувшись до чаши наслажденія, навсегда извлекло изъ нея лучшіе соки“ и тѣмъ погубило юная свои силы; даже любовь и ненависть— эти болѣе другихъ сильныя страсти—проявляются въ немъ слишкомъ вяло и совершенно случайно, потому что молодое поколѣніе, похоронившее въ своей груди „остатокъ чувства, ничѣмъ не хочетъ жертвовать ни злобѣ, ни любви“, Словомъ— современное поэту поколѣніе представляется ему влачащимъ жизнь „безъ счастія и безъ славы, съ царствующимъ въ душѣ какимъ-то тайнымъ холодомъ“, или, употребляя его же образное выраженіе, „тощимъ плодомъ, созревшимъ до времени“. Его прошедшее до того безцѣнно и ничтожно, что можетъ дать материалъ только для горькой насмѣшки и не представляетъ ни одного сколько нибудь живого, страстнаго, благородного увлеченія; его настоящее—это „ровный путь безъ цѣли, пиръ на праздникѣ чужомъ“; понятно отсюда, что и будущее его должно быть вполнѣ „пусто“, или же, по меньшей мѣрѣ, „темно“. Такое общество поэтъ справедливо называетъ „угрю-



мою толпой“, долженствующей пройти надь міромъ „безъ шума и слѣда“,

«Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда».

И потомокъ будетъ совершенно правъ, когда, обсуждая жизнь своихъ предковъ, оскорбить ихъ прахъ „презрительнымъ стихомъ“, или „горькою насыщшкою обманутаго сына надь промотавшимся отцомъ“. Эта послѣдняя сатира, служа лучшимъ выражениемъ мрачнаго, безотраднаго взгляда Лермонтова на современное ему общество, въ то же время прекрасно характеризуетъ его какъ сатирика: онъ не смѣется, не издѣвается надъ порокомъ, а сурово, безощадно бичуетъ его своимъ „желѣзнымъ стихомъ, облитымъ горечью и злостью“.

Понятно, что такие люди, какими ихъ представляетъ Лермонтовъ, должны были на все окружающее ихъ оказывать только растлѣвающее, разрушающее вліяніе; при столкновеніи съ ихъ грубыми, эгоистическими интересами должно было ветшать, искалѣчиваться или даже вовсе гибнуть все невинное, чистое и прекрасное въ природѣ и человѣческомъ мірѣ. Въ стихотвореніи „Три пальмы“ поэтъ наглядно представилъ гибель прекраснаго оаза отъ грубаго, эгоистического прикосненія человѣка. Полнымъ разрушениемъ, уничтоженіемъ, огнемъ да „пепломъ сѣдымъ и холоднымъ“ заплатилъ человѣкъ природѣ за ея всегдашнюю готовность „служить“ ему: за отрадный отдыхъ, за мирный, гостепріимный ночлегъ. Въ высшей степени грустное, тяжелое впечатлѣніе производитъ паденіе, подъ безощадными ударами топора, „питомцевъ столѣтій“, такъ радушно привѣтствовавшихъ появление въ средѣ ихъ человѣка, исчезновеніе, подъ палящими лучами аравійскаго солнца и насыщенаго пескомъ вѣтра, „студенаго ручья“, щедро поившаго своей живительной влагой нежданыхъ гостей, и наконецъ полное уничтоженіе и превращеніе очаровательнаго оаза въ дикую пустыню. На этой грустной картинѣ раз-

рушенія поэтъ, какъ нельзя болѣе кстати, оставляетъ преемникомъ эгоисту-человѣку такого-же хищника-коршуна, терзающаго и щиплющаго свою добычу.

Точно также „холодный свѣтъ“ не щадить и въ человѣческомъ мірѣ всего чистаго, невиннаго и прекраснаго. Въ стихотвореніи, посвященномъ памяти А.И.Одоевскаго († 1839 г.) и носящемъ тоже название, Лермонтовъ оплакиваетъ смерть друга, съ которымъ онъ на Кавказѣ „дѣлилъ тоску изгнанья“, и который погибъ „далеко отъ друзей, не дождавшись сладкой минуты возврата къ роднымъ полямъ“. Другъ этотъ рожденъ былъ для лучшихъ надеждъ, „поэзіи и счастья“, но «рано бросилъ сердце въ море шумной жизни, и свѣтъ не пощадилъ его», не даль развиться его душѣ, согрѣть „летучему рою вдохновеній“, а связалъ его „коварными цѣпями“, почему онъ отрекся отъ свѣта, полюбилъ „шумъ моря, молчанье синей степи и губчатые хребты мрачныхъ горъ“, что послѣ его смерти все соединилось вокругъ „неизвѣстной“ его могилы.

Зная пагубное вліяніе „свѣта“ на чистыя, невинныя существа, поэтъ обращается съ молитвою („Молитва“) къ образу Богоматери и поручаетъ „теплой заступницѣ міра достойную счастья невинную дѣву съ незлобнымъ сердцемъ и прекрасною душой“, прося принять ее подъ свой покровъ, оградить отъ тлетворнаго вліянія „холоднаго міра“ и во всѣ времена ея жизни окружить ее счастіемъ.

Нисколько не удивительно, что, представляя современное общество изѣденымъ всевозможными недугами и понимая разрушительное вліяніе его на все окружающее, самъ Лермонтовъ менѣе всего могъ сочувствовать этому обществу, такъ какъ современная жизнь радикально противорѣчила его возвышеннымъ, идеальнымъ взглядамъ и стремленіямъ. Мало этого: современная жизнь являлась ему исключительно своими мрачными сторонами, почему о примиреніи съ нею, объ успокоеніи не могло быть и рѣчи: поэтъ совершенно разошелся съ дѣйствительностью, отрицалъ, презиралъ ее. Но, съ другой

стороны, самъ Лермонтовъ не выработалъ хотя сколько ни-
будь опредѣленнаго идеала, который онъ могъ бы, если не
поставить на мѣсто этой растлѣнной дѣйствительности, то про-
тивопоставить ей. Въ этомъ отношеніи его поэзію еще Жу-
ковскій вполнѣ справедливо охарактеризовалъ мѣткимъ на-
званіемъ „поэзіи безочарованія“. Отсутствие положительного
идеала, къ достиженію которого можно было бы стремиться,
на которомъ утомленная мысль и тревожное чувство могли бы
отдохнуть, успокоиться, необходимо вызывало томительное,
мрачное, безотрадное настроеніе. Поэтъ всегда жилъ „подъ
бурею сомнѣній и страстей“ и до того сжился съ этимъ тре-
вожнымъ состояніемъ, что даже считалъ нужнымъ съ грустной
ироніей „благодарить“ судьбу „за тайныя мученія страстей,
за горечь слезъ, за месть враговъ и клевету друзей, за жаръ
души, растрченный въ пустынѣ“, и „просить ее устроить“
лишь такъ, чтобы ему недолго еще пришлось „благодарить
ее“ за вышеупомянутыя благодѣянія („Благодарность“).

Въ душѣ этого „безднаго въ свѣтѣ странника съ пу-
стынною душой“ происходила постоянная томительная борьба
бурныхъ страстей, сомнѣній и предчувствій, возвышенныхъ
желаній, порывовъ и стремленій. Самъ Лермонтовъ находилъ
это тяжелое, безвыходное состояніе совершенно естественнымъ,
такъ сказать, врожденнымъ душѣ человѣка. Полное таинствен-
ности и чудной гармоніи стихотвореніе „Ангель“ представ-
ляетъ наглядное решеніе этого именно вопроса. Соединяя фи-
лософское ученіе Платона о предсуществованіи душъ съ хри-
стіанскимъ вѣрованіемъ въ ангеловъ, какъ посредниковъ между
небомъ и землею, поэтъ рисуетъ въ высшей степени трога-
тельный и привлекательный образъ ангела, въ таинственный
часъ полуночи несущаго душу съ неба, горней обители bla-
женнѣхъ духовъ, на землю, „въ міръ печали и слезъ“, и
напутствующаго ее „святыми пѣснями о Богѣ великому и
о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ подъ кущами райскихъ са-
довъ“. Чудные звуки святой пѣсни, хотя „безъ словъ“, обо-

значающихъ собою опредѣленныя понятія, а только лишь въ
видѣ „звуковъ“, воспоминаній, порывовъ и стремленій, на-
всегда запали въ „младую душу“ и живо сохранились въ ней;
вотъ почему

«Долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ чуднымъ полна,
И звуковъ небесъ замѣнить не могли
Ей скучныя пѣсни земли».

Вотъ почему въ душѣ человѣка, не погрязшаго оконча-
тельно въ одной лишь материальной сторонѣ жизни, постоянно
пробуждаются эти „чудныя желанія“, возникаютъ неопредѣ-
ленныя порывы, стремленія къ чему-то высшему, лучшему.
Ни заботы и труды, ни удовольствія и потѣхи ежедневной
мелкой дѣйствительности не въ силахъ подавить, заглушить
въ душѣ этой потребности къ высшему, лучшему, этихъ „чуд-
ныхъ желаній“, словомъ—полное удовлетвореніе человѣка не
возможно въ кругу обыкновенныхъ условій земной жизни.
Стремленіе къ идеальному есть существенная, прирожденная
потребность человѣческой души, залогъ человѣческаго совер-
шенствованія, несомнѣнныи признакъ высокаго нравственного
назначенія человѣка на землѣ. Отсюда сомнѣніе, беспокойство,
постоянная тревога, неудовлетворенность настоящимъ, вѣчные
порывы куда-то, къ чему-то, словомъ—борьба идеальныхъ стрем-
леній съ несовершенствами дѣйствительности. Чѣмъ богаче,
воспріимчивѣе и впечатлительнѣе натура человѣка и чѣмъ
бѣднѣе въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ окру-
жающая его среда, тѣмъ тяжелѣе и несноснѣе являются для
него „скучныя пѣсни земли“, тѣмъ глубже и сильнѣе чув-
ствуется внутренній разладъ и тѣмъ менѣе остается надежды
на успокоеніе.

Именно такимъ глубокимъ внутреннимъ раздоромъ, чуж-
дымъ полнаго успокоенія, отличается поэзія Лермонтова. Поэтъ
путается въ цѣпи нераразрѣшимыхъ сомнѣній, приходитъ къ

полному отчаянію и только временно, такъ сказать, на ми-
нуту, находить иногда облегченіе, успокоеніе наболѣвшей
страдальческой своей душѣ. Такимъ времененнымъ переходомъ
къ спокойствію отъ врожденной наклонности къ тревогѣ отли-
чается стихотвореніе „Молитва“. Поэтъ рисуетъ мрачную кар-
тину душевнаго состоянія, когда неразрѣшимыя со-
мнѣнія подавили въ немъ вѣру въ божественное провидѣніе,
а сердце его наполнено тяжелою, безвыходною грустью. Въ
эту, дѣйствительно, „трудную минуту жизни“ онъ обращается
къ „чудной молитвѣ“ и въ ея благотворной, всеуспокаивающей
силѣ получаетъ облегченіе, утѣшеніе и врачеваніе глубокихъ
душевныхъ ранъ: бремя сомнѣнія далеко скатывается съ его
души; возвратившаяся вѣра вызываетъ благотворныя слезы,
и въ обновленной душѣ его возвращается спокойствіе. Вообще,
не смотря на всегдашнюю „бурю сомнѣній и страстей“, ре-
лигіозное чувство было живо въ душѣ поэта. Пораженный
таинственной, полной „мира и отрады“ обстановкой въ мо-
лennой А. Н. Муравьевы († 1874 г.), автора „Путешествія
по свят. мѣстамъ“, онъ въ квартирѣ же Муравьевы написалъ
„дышащее благодатнымъ спокойствиемъ сердца, теплотою мо-
литвы, кроткимъ вѣяніемъ святыни“ стихотвореніе „Вѣтка Па-
лестины“, въ которомъ выразилъ глубокое чувство религіоз-
наго благоговѣнія, вызванное воспоминаніемъ о св. Землѣ,
откуда принесена находившаяся за иконой палестинская вѣтка.

Но не всегда религіозное чувство было въ состояніи под-
держать „миръ и отраду“ въ „пустынной и тревожной“ душѣ
поэта. Въ стихотвореніи „Когда волнуется желѣзная нива“
снова рисуется мрачная картина безотраднаго состоянія души.
Томительная душевная „тревога“ царить во всей своей силѣ,
проводя глубокія морчины на челѣ поэта; вѣра въ Прови-
дѣніе потеряна, а съ нею погибла и надежда на земное сча-
стіе. Но на этотъ разъ поэтъ находитъ исходъ изъ этого мрач-
наго состоянія въ созерцаніи свѣтлыхъ красотъ природы. Онъ
рисуетъ рядъ очаровательныхъ картинъ: картину окончанія

лѣта съ созрѣвшими нивами и созрѣвающими въ садахъ соч-
ными плодами, картину весны съ обрызганнымъ росой сереб-
ристымъ ландышемъ, привѣтливо кивающимъ путнику своею
головкой, и картину „студенаго ручья“, въ жаркій лѣтній
день распространяющаго по оврагу пріятную прохладу и своимъ
 журчаніемъ лепечущаго разнѣжившемуся и замечавшемуся
путнику таинственную сагу про далекій, „мирный край“. Мягкія, мирныя красоты природы производятъ животворное,
смягчающее, успокаивающее душу впечатлѣніе; въ ихъ со-
зерцаніи поэтъ умиляется царствующимъ въ природѣ гармони-
ческимъ порядкомъ, снова видѣтъ промышляющую о мірѣ и
человѣкѣ десницу Божію и вѣрить въ возможность счастія
на землѣ.

Еще болѣе успокаивающее и ободряющее впечатлѣніе
производить стихотвореніе „Родина“, въ которомъ поэтъ вы-
сказываетъ полное и глубокое сочувствіе свое природѣ и про-
стой жизни. Онъ сознается, что онъ сильно и искренно лю-
бить отчизну, но какою-то особеною „странною любовью“. Его
сочувствія не вызываетъ то, что обыкновенно возбуждаетъ
восторгъ въ патріотѣ: ни купленная кровью слава родины,
ни горделивое сознаніе могучихъ силъ, ни завѣтныя преданья
старины „не шевелять“ въ немъ „отраднаго мечтанья“; но
его влечетъ къ себѣ безграничный просторъ ея лѣсовъ, степей и
полей, „подобные морямъ разливы рѣкъ, печальные деревни
съ покрытыми соломою избами, нивы съ зажженнымъ жни-
вомъ, изъ края въ край Россіи простая сельская жизнь, не-
прерывный, тяжелый трудъ съ рѣдкимъ, неизысканнымъ ве-
сельемъ.“

Но и на этомъ глубокомъ сочувствіи всему бодрому и здо-
ровому въ жизни народа, всему сильному и прекрасному въ
природѣ не могъ совершенно успокоиться Лермонтовъ, не
„могъ забыться и заснуть“, подобно Пушкину, тихимъ, без-
мятежнымъ сномъ. Въ самыхъ картинахъ природы, по види-
мому, мирныхъ, прелестныхъ, онъ видѣлъ иногда сходство съ

собственнымъ мрачнымъ душенастроениемъ; такъ въ стихотвореніи „Тучки“ онъ завидуетъ этимъ „вѣчно холоднымъ и свободнымъ странникамъ, чуждымъ страстей“, что у нихъ нѣть родины, нѣть и изгнанія, что ихъ не гонить ни тайная злость, ни открытая злоба, ни ядовитая клевета друзей. И при созерцаніи очаровательныхъ картинъ природы ему по прежнему было „бально и трудно“. Стихотвореніе „Выхожу одинъ я на дорогу“ начинается именно такою чудною, восхитительною картиною благодатной лѣтней ночи. Торжественнымъ, чуднымъ шатромъ раскинулся величественный сводъ неба, усыпанный миллионами ярко-блестящихъ звѣздъ; спокойно спить покрытая голубымъ сіяніемъ земля; ничто не нарушаетъ таинственной тишины этой очаровательной, благодатной ночи: только мятежной душѣ поэта, какъ всегда, „бально и трудно“. Самъ поэтъ не можетъ дать себѣ отчета о причинѣ такого томительного состоянія: явилось-ли оно вслѣдствіе постояннаго беспокойнаго ожиданія чего-то, или же вслѣдствіе долговременного сожалѣнія объ утратѣ прошлаго? Но вполнѣ разочарованный во всемъ, онъ откровенно сознается, что ему совершенно чужды ожиданія отъ будущаго, а равно и потери въ прошедшемъ; онъ жаждетъ только покоя и свободы отъ гнетущихъ его душу сомнѣній, порывовъ и страстей, желалъ бы даже „забыться и заснуть на вѣки“, но заснуть не холднимъ могильнымъ сномъ, а, такъ сказать, слиться съ природой, вполнѣ сохранивъ притомъ жизненные силы, чувствовать въ себѣ блїеніе жизни, сознательно наслаждаться красотами природы и сохранить въ себѣ лучшее и высшее изъ всѣхъ чувствъ разумныхъ существъ—чувство любви. Очевидно, что осуществленіе высказанныхъ поэтомъ желаній положительно *невозможно*, и его разочарованному чувству не суждено найти успокоенія.

Но особенно мрачнымъ чувствомъ горькаго разочарованія и отчаянія проникнута элегія „И скучно, и грустно“. Это не минута духовной дисгармоніи, сердечнаго отчаянія,—это по-

хоронная пѣснь всей жизни. Здѣсь поэтъ выскаживаетъ разочарованіе не въ благахъ только жизни, въ ея выраженіи, а въ самой жизни, въ ея сущности. Онъ береть все, что есть лучшаго въ жизни: дружбу, желанья, любовь и страсти и находитъ, что ни одна изъ этихъ сторонъ жизни человѣка не представляетъ собою ничего успокоительнаго, устойчиваго, неизмѣннаго. Дружба измѣнчива, непостоянна, не даетъ надежной опоры въ „минуту душевной невзгоды“; желанья—не сбыточны, напрасны и только тѣшатъ, усыпляютъ человѣка, пока незамѣтно одинъ за другимъ невозвратно ироходять его лучшіе годы; любовь—тоже, помимо трудности выбора предмета любви, временна, преходяща; внутренняя жизнь, въ свою очередь, не даетъ поэту отрады: въ немъ самомъ „и радость, и муки, и все такъ *ничтожно*“; даже сладкій недугъ страстей рано или поздно ослабѣваетъ или вовсе „исчезаетъ при словѣ разсудка“; самая, наконецъ, жизнь при „холодномъ вниманіи“, при свѣтѣ строгой, разсудочной мысли оказывается въ глазахъ поэта „пустою и глупою шуткой“. Этимъ полнымъ „разочарованіемъ“, положительнымъ отсутствіемъ идеала, къ достиженію котораго поэтъ могъ бы стремиться и на которомъ успокоился-бы его мятежный духъ, объясняется всегдашняя тревога, какое-то безпричинное волненіе, инстинктивное влеченіе къ беспокойству, постоянное, безуспѣшное исkanіе идеала, осуществленія стремленій, которыхъ остаются только стремленіями и не поддаются уясненію сознанія; это какая-то стихійная, слѣпая борьба для борьбы, бунтъ во имя самого бунта.

Такое безотрадное душевное состояніе прекрасно выражено въ стихотвореніи „Парусъ“, гдѣ подъ аллегорическимъ образомъ паруса является мятежный духъ самого поэта. Для него всѣ положенія и состоянія совершенно одинаковы: край родной и край далекій, страшная морская буря и свѣтлая небесная лазурь, свѣтъ и тѣни, счастіе и несчастіе—чужды и даже враждебны ему. Онъ не можетъ дать себѣ отчета, зачѣмъ бросилъ родину и направился въ далекій край, не можетъ ска-

зать, что недовольный существующимъ, настоящимъ, онъ ищетъ лучшаго будущаго: онъ „бѣжитъ не отъ счастія“, но и „не ищетъ счастія“. Ему нужна только буря, борьба, какъ будто бы въ ней, въ самомъ процессѣ борьбы, онъ въ состояніи найти желанный „покой“, потому что въ мятежной натурѣ его лежитъ инстинктъ раздора, бунта, борьбы. Состояніе мрачное, томительное, невыносимое! Вмѣсто горячо желанного покоя, этотъ анти-общественный инстинктъ раздора, въ свою очередь, вызываетъ изолированность, мрачный эгоизмъ, ожесточеніе, безвыходную скорбь и страданія. Но полное одиночество, совершенная оторванность отъ общества вовсе не представлялись поэту состояніемъ выгоднымъ, желательнымъ. Такое положеніе постоянно живо, болѣзненно чувствовалось имъ, тяготило, мучило его, такъ какъ онъ ясно сознавалъ всю его крайность и невыгоду. Небольшое стихотвореніе „Сосна“, несмотря на общій тонъ тихой, меланхолической грусти, достаточно ярко рисуетъ невыгодныя, тяжелыя стороны крайности, уединенности положенія. Одинокая, осыпанная снѣгомъ сосна томится своимъ сиротливымъ положеніемъ на голой вершинѣ дикаго сѣвера, точно такъ-же, какъ и прекрасная пальма, одиноко и грустно растущая на горюченъ утесѣ, палимомъ зноемъ полу-дня. Крайности положенія оторванности отъ общества всегда вызываютъ въ человѣкѣ лишь недовольство; только въ примиреніи противоположностей съ совмѣщеніемъ выгодныхъ сторонъ этихъ крайностей лежитъ залогъ внутренняго и внѣшняго счастія человѣка. Имъ не можетъ наслаждаться человѣкъ разорвавшій связи съ современнымъ ему обществомъ, неопредѣлившій въ немъ своего положенія, такъ какъ счастіе въ жизни есть результатъ разумно-сознательной дѣятельности человѣка въ связи съ общею жизнью современного ему общества. Но Лермонтовъ слишкомъ далеко уже ушелъ въ своемъ отрицаніи общества. Подобно дубовому листку („Дубовый листокъ“), оторвавшемуся отъ родимой вѣтки, искашему пріюта у роскошной чинары и отверженому ею, поэтъ готовъ былъ возвра-

титься къ обществу, примириться съ нимъ, но самъ сознаетъ, что онъ, какъ и дубовый листокъ, „вырослій въ суровой отчизнѣ, до срока созрѣвшій, увядшій и засохшій отъ холода, зноя и горя“, достаточно увяль въ роковыхъ буряхъ, подъ знойнымъ солнцемъ бытія, что буря сомнѣній и борьбы изсушила уже его настолько, что онъ не годится для жизни въ обществѣ и что приобрѣтенный имъ запасъ опыта и знаній, или, какъ самъ онъ выражается, „рассказовъ мудреныхъ и чудныхъ“, окажется просто „небылицами“ для слуха „любимой солнцемъ чинары“, утомленного неугомоннымъ щебетаньемъ райскихъ птицъ.

Такъ непривѣтливъ, раздражительно болѣзненъ, томительно тяжель внутренній міръ поэта, міръ его поэзіи, гдѣ онъ жилъ иною жизнью, былъ инымъ человѣкомъ, не тѣмъ, какимъ любилъ казаться въ обществѣ. Господствующее настроеніе его — печальное раздумье, никогда неутихающая борьба сомнѣній и страстей. Въ его поэзіи все вопросы и вопросы, которые мрачать душу, леденять сердце. Его желѣзно-струнная лира чаще всего издавала болѣзненные и раздирающіе душу стоны, стоны безвыходной скорби, страданія и жолчнаго негодованія; жизнь почти не являлась ему веселыми своими сторонами.

Тѣмъ не менѣе поэту доступны были самыя мягкая душевные движения; по временамъ звучали самыя нѣжныя струны его сердца; прорывались иные трогательные мотивы, слышались чудныя, чарующія пѣсни; его теплое, любящее чувство высказывалось въ самыхъ увлекательныхъ формахъ и образахъ. Стоить припомнить, напр., его „Казачью колыбельную пѣсню“ — этотъ высоко-художественный апoteозъ матери-казачки, бѣдной женщины, богатой безкорыстными материнскими мечтами, ожидающей найти въ своемъ ребенкѣ не кроткаго, покорнаго, нѣжно-любящаго сына, а такого же, какъ и его отецъ, закаленнаго въ бояхъ героя, грозу коварныхъ и кровожадныхъ враговъ родины, беззаботнаго удальца, способнаго поддержать честь и славу казачества. Но и такие мотивы и пѣсни вовсе

не искупають и даже не заслоняютъ собою господствовавшаго въ душѣ поэта внутренняго разлада, ожесточенія и зловѣщихъ предчувствій, борьбы, тоскливыхъ надеждъ, отчаянія и жалобъ, почему поэзія Лермонтова не можетъ произвести на читателя успокаивающаго впечатлѣнія, такъ какъ этого благодатнаго мира и покоя совершенно чужда была слишкомъ бурная душа самого поэта.